

## ПИСЬМА

В феврале 1984 года я приехал в Москву, поселился в гостинице и по обыкновению тотчас же стал звонить друзьям и знакомым. В записной книжке моей было много телефонных номеров, но, с кем бы я ни разговаривал, никого не потревожил вопросом: «А Казаков в Москве или в Абрамцеве? Давно его не видел?»

Нигде уже не было моего друга Юрия Павловича.

После смерти писателя сиротливо перечитываешь его произведения. Чуть ли не под каждой строкой большого мастера ищешь осадок его бытия, которое кончилось навсегда. Летом с чувством утраты, с сознанием, что и эти листочки уже не новости, а своего рода реликвии, перебирал я его письма: на конвертах казакской рукой начертаны мои адреса и моя фамилия. Да неужели я уж никогда не получу от него ни строки?! Никогда. Время нашей единственной человеческой связи прошло.

Письма Ю. П. Казакова забирают меня назад, в молодость, и мне там чего-то безумно жаль. От налетающих тучных воспоминаний я не могу читать все подряд — тяжело! Больше всего, наверное, жаль мне самого времени. Нету чудес, но вдруг захочется снова проснуться в селении под Анапой неизвестным учителем, побеспокоиться втихомолку о трех рассказиках, отосланных мною на суд любимого писателя, снова бы караулить почтальоншу с толстой сумкой (в ней кипа писем, а мне опять нет!), гадать, сомневаться, наконец, позабыть обо всем и... однажды... увидеть на столе... конверт с обратным адресом: «Ю. Казаков. Таруса, до востребования».

Что там?!

«...Не сердитесь за такой запоздалый ответ, дело в том, что я сейчас обретаюсь в Тарусе, в Москве бываю раз в месяц, и мне не могли вручить ваши рассказы».

Рассказы я прочел, и они мне понравились...

Рассказы ваши я попробую протолкнуть в «Молодую гвардию», хотя поручиться за успех дела трудно. Рассказы не из легких для журналов — вы понимаете.

Но если с печатанием и не выйдет ничего, тужить вам особенно не надо, главное, что пишете вы хорошо, а печататься будете — немного раньше, немного позже, но будете (если, конечно, будете писать так же хорошо и много).

Вообще же предсказывать вам что-нибудь я не берусь, да и трудно это всегда, и как-то совестно: что я — пророк? Одно положение верно во всех случаях: если автор талантлив и трудолюбив, значит — будет писателем. Трудолюбие в писательстве вещь не менее важная, чем талант. Сколько писателей мелькнуло и пропало, напечатав две—три вещи. Один сопьется, другой обленится...

Мой вам совет, и этот совет вы постарайтесь запомнить и исполнять. Когда вас на первых порах не будут печатать, да и не только на первых, а и потом (если будете писать острые вещи), то никогда не злитесь, не давайте взятую над собой верх раздражению, злобе, зависти. Никогда напряженно не ждите результатов из той или иной редакции. Постарайтесь даже забывать, что вы сдали рассказ и ждете ответа. И если вы выработаете в себе эти качества, очень много здоровья, нервов себе сэкономите. А эти самые нервы вам еще пригодятся.

Вот и все. Будьте здоровы, желаю вам больших успехов.

Как только в журнале определится отношение к вашим рассказам, я вам напишу.

Таруса. 8 февраля 1968 г.»

Я перечитывал первое письмо Казакова бесконечно, радовался, мечтал и пугался. Писания мои не обругали, даже одобрили, а я еще ничего не умею! Меня вроде бы уже приравнивали к строю литераторов, а я еще не знаю, как рассчитаться на «раз, два, три». Но, желая быть призванным на вечную службу, я в ответе изо всех сил старался не отстать от Казакова в певучести и складности фраз. Помню ощущение глубокой неловкости, в которой я цепенел всякую минуту, когда воображал, что мой листок писателя держит перед собой где-то в Тарусе. Закон благодетельной внутренней правды, слияния таинственного толчка чувства и упавшего на бумагу слова я открыл потом. Кончики нервов чутко предупреждают нас о вскочившей в строку фальши, о желании казаться, а не быть в угождении «пустошным речам» и прочее. На первых порах понятия не имеешь об искрах свободы и забывчивости в творчестве; в голове одно: я пишу, я должен ставить слова как-то не так... Но и позже, уже поднаторов, поймав прелесть простого «ангельского языка», то и дело сбиваешься... на литературу. С такими, наверное, вывертами и писал я тогда ответы Казакову.

Как бы то ни было, Юрий Павлович выбирал из моих писем нечто жизненное, моей судьбы касающееся, и тотчас откликнулся. Удивительное сочувствие мастера спустилось ко мне ни за что ни про что — как манна небесная. Он меня мимоходом, как бы в примечаниях, заранее оберегал от всякой кривизны.

«...Вообще же я бы вам порекомендовал сейчас попробовать свои силы на крепких радостных рассказах. Я думаю, что радость такая же сторона жизни, как и несчастье, ее, может быть, меньше, но она есть, и можно честно писать об этом. Она, то есть радость, очень сейчас подмочена во мнении думающего читателя, и как-то даже мы стесняемся иной раз писать оптимистические вещи, но оптимизм иной раз у нас спекулятивен, фанфаронен, а я говорю о другом оптимизме, вытекающем из естественной необходимости счастья и бодрости во всем живом... Таруса. 13 апреля 1963 г.»

Теперь мне хотелось встретиться с ним. В отпуск я поехал в Москву. В редакции журнала «Молодая гвардия» меня разочаровали: Казаков появился на денек и опять уехал в Тарусу. Я насмелился потребовать его там.

Все воспоминания о том, как Куприн с половины пути в Ясную Поляну повернул назад, как Чехов, готовясь к встрече с Толстым, долго выбирал галстук, не выдуманы. Начинающие писатели тоже боятся мастеров, не великих, но известных. Я целый вечер кружил у бревенчатого дома, в котором Казаков снимал комнату. И с каким-то спасительным чувством отложил свой визит до утра. Вот он написал мне о счастье. Разумеется, я с юности беспокоился о том, чтобы моя судьба сложилась посчастливей, я каждый месяц этого счастья ждал, я в счастье верил, а начитавшись биографий великих художников Возрождения, согласился, что счастье творческого человека в страдании за искусство. В молодости, пока мы никому не нужны и ничем еще себя не проявили, множество чванливых особей постоянно как бы вопрошает: а ты кто такой?! И нам часто кажется, что мы в этом мире самые последние, никому нет дела до нашего таинственного чудесного шума в душе. Благие наши порывы вдруг перемальваются в жуткое самоуничтожение, которое все застит, паренек или девушка перестают замечать многообразие жизни. Поражены бываем мы и томительной печалью собственного природного несовершенства, а скорее всего незнанием своих дремлющих сил. Где-то наверху золотая среда, «невянущие дубравы» искусства, туда нас влечет, но есть ли смысл идти? Там ли тебе место? Добрые люди могут тебя приблизить, а потом что? Нечто похожее переживал тогда я, плутая по тарус-

ским горушкам в поисках дома, в котором, может, и сочинял свой прекрасный рассказ «Адам и Ева» Ю. Казаков. Меня сковывают какие-то цепи. Я вроде недостоин даже того, чтобы постучаться в калитку К. Г. Паустовского и спросить у него о Казакове. Это здесь, наверное, составлялся сборник «Тарусские странички»? В нем и «Кирилловны» М. Цветаевой, и стихи Н. Заболоцкого, и очерк Паустовского «Иван Бунин», и... мой Казаков с тремя рассказами. Посто-яв у забора в позе странника, я, честное слово, ушел виноватым. Куда я рвусь?! Но именно в ту пору, в такие часы и минуты, когда все они, известные и простые, были для меня «мужами искусными», когда я за одно то, чтобы послушать мастеров, готов был отдать все отпускное врем. Именно тогда мне послалось счастье. Наверное, потому мне и жаль сейчас этого убежавшего времени. В страдании и растешь.

Рядом с Тарусой (вниз по Оке) стояла усадьба художника В. Д. Поленова. Полдень, уже, значит, и в жилых покоях Поленова я побродил, а у Казакова не был даже в ограде. Катер доставил меня в Тарусу. Наконец-то Казаков приехал из леса на мотоцикле. Почему он не похож? «Автор нежных дымчатых рассказов» должен бы чем-то смахивать на Есенина. Но он добродушногубоватый, рослый, тяжелый, как штангист. Он был молод, еще не женат, в той первой славе, которая никогда уже так не звенит. Все, кажется, украшалось приличием этой славы: и лысына, и даже заикание. Мне же и кудри ни к чему. Казаков щедро выручал меня: много говорил, все как-то между прочим вставляя в истории имена известных писателей. Он месяц назад путешествовал по Северу с Е. Евтушенко, тогда гремевшим, и Г. Семеновым. Я сказал Юрию Павловичу, как искал его, подходил к дому К. Г. Паустовского; испугала бумажка на заборе: «Константин Георгиевич болен и никого не принимает».

— Это жена защищает его. От поклонников. Старики в Москве. Мы были у него недавно с Евтушенко.

Опять как-то между прочим сказал: были, сидели, Паустовский их провожал. К 100-летию А. П. Чехова Паустовский поместил в «Литературной газете» коротенькие «Заметки на папиросной коробке» — я их выучил наизубок! Я из-за Паустовского ссорился с другом детства. «Может, это и хорошо, — сказал мне нынче в Коктебеле писатель-москвич, с университетской скамьи видевший и слышавший «всех великих» и тогда уже судивший их весьма строго. — Детская святость перед искусством умчалась от меня рано. Я ко всему привык. Таруса, кхм! Я жил в Тарусе еще летом 56 (!) года. Паустовский, закутанный в одеяло, ворчал что-то и ничего не проронил такого,

чтобы запомнилось. А ты прошел через преувеличения, идеализм. Наверное, это хорошо. Что было, то было.

В тот день я много интересного услышал от Казакова. История создания рассказа «Адам и Ева» была мне наукой. Как все, оказывается, интимно! Можно ждать приезда женщины и от тоски написать шедевр «Осень в дубовых лесах», сходить на охоту с друзьями — и другой шедевр: что-то о себе и о нас. Осенью 1962 года по пути из Одессы на пароходе «Петр Великий» прочитал в «Огоньке» рассказ «Плачу и рыдаю», вышел на боковую палубу, постоял, глядя на горизонт, отсекавший незнакомые мне географические проливы близ Турции, на тяжелую синюю воду внизу, и пробормотал слова героя рассказа: «Плачу и рыдаю егда есть жизнь...» Какой же он, Казаков? Чудеса: сижу с ним в Тарусе, он несет из кладовки тарелку огурцов собственного засола и предлагает мне: «Угощайтесь...» Еще не понимаю, что здесь начинается наша дружба. Через несколько дней мы опять встретимся в Доме литераторов в Москве. «Знакомьтесь, — представлял он меня братцам-писателям, — скоро прочитаете его рассказы...»

Дома я ждал от него известий.

«...Дела у нас с вами пока грустные. Молодогвардейцы так и не решились взять ваши рассказы. Я забрал их оттуда (пока первые три) и тут же отдал в «Новый мир». Там, во всяком случае, будет скорый ответ. Даже если и отказ, то скорый...»

Как вы поживаете? Есть ли что-нибудь новенького? Я бы не хотел, чтобы разные оттяжки и задержки с первыми рассказами охладили в вас желание работать. О первых рассказах забудьте и пишите каждый новый, будто предыдущих не было... Сентябрь, 1963 г. Москва».

Если бы Казаков не отнес рассказы в «Новый мир», — часто думал я и думаю теперь, — иначе бы сложилась моя судьба, и, возможно, я вообще не стал бы писателем. Литература бы ничего не потеряла, а моя профессиональная участь была бы печальней. Мне очень повезло! — вот что я повторяю все двадцать лет.

Пока же я выпускал под Анапой школьную стенгазету.

«...Как ваши рассказы? Выйдут они не скоро, если даже и примут, да это не беда, лишь бы взяли. Много ли написано нового? Я когда начинал, много писал и быстро. Мог за день настроичить рассказ в авторский лист. А теперь вот как-то туго идет. Сюжетов мало. Да и то даже как-то и не сюжеты вовсе. У нас, русских, вообще с сюжетами никуда. Нет у нас сюжетов, а больше так — «жизнь», это у лучших,

у плохих же ничего нет... 19 ноября 1963 г. Москва».

Именно в эти дни мой рассказ «Брянские» был уже набран в 11-м номере «Нового мира», и меня редакция просила «не прыгать до потолка» — мало ли что бывает: стоит вещь и выпадет.

Я между тем писал новое и всеми замыслами делился с Казаковым.

«...Меня немножко насторожила ваша «Чалдонка». Я не люблю сибиряков — писателей. А вы сибиряк. Глядите, как бы вас не подмял материал. Он в Сибири всегда экзотичен и всегда портит писателей, они начинают писать смачно, цветисто, шеголевато, но это плохие смачность и шеголеватость, и очень они как-то похожи друг на друга, очень местны, сибирски. А вы должны быть русским писателем. А Русь — у нас, в Европе (я о литературе говорю). Вспомните Шишкова и прочих, вы поймете, что я имею в виду. Нет у них, вернее, в их материале чего-то такого обыкновенного, что есть у нас, они экзотичнее, а экзотика в литературе хоть и хороша, но она не главное. Так что я насторожился, когда узнал о «Чалдонке», да еще большая вещь! Впрочем, возможно вы совсем другое хотите писать, и я тут стреляю мимо...»

На первых порах вы все-таки посылайте мне свои вещи. Потом уж, когда оперитесь совсем, тогда никому не показывайте, а сначала — всегда полезно. Я, например, страсть как любил потчевать своими творениями, а потом уж поостыл... 28 декабря 1963 г. Москва».

«То, что вам теперь надо быть осторожней, как вы пишете, это ничего и даже к лучшему. Быть осторожней, как я понимаю, это не курить и не пить, поверьте — это прекрасно, не курить и не пить. Писателю нужна чистая голова и хорошее здоровье... 7 мая 1964 г. Москва».

Осенью 1964 года еще два моих рассказа появились в журнале «Новый мир».

«Витя, погодите вы ради Господа отречься от своих старых рассказов. М. б., ничего лучшего не напишите. Это не в укор вашему будущему. А просто я думаю, что человек должен любить себя прошлого, потому что, кто его знает, что там будет впереди. Я суверен. Каждый ваш рассказ написан «изо всех сил», в охотку, с удовольствием, если не с наслаждением, все они — история вашей жизни, вы потом это поймете, в них бродят разные ваши настроения, ваши поездки, ваша печаль и радость. Зачем же так морщиться на них. Тем более, что рассказы, ваши вовсе недостойны, чтобы на них морщились, скорее наоборот. Или это у вас уже кокетство?»

Нехорошо, Витя! Все мы как-то изломаны, из-

дерганы, нервны, все мы хотим чего-то эдакого, и все нам и то не то, и это не это.

Не читайте вы, пожалуйста, этих глупых критиков, берущихся рассуждать о современном стиле, о традициях и т. п. Вы знаете, я часто вспоминаю слова Достоевского из его «Дневника». Он там однажды как-то подумал о критике и вдруг понял, что критика (к тому времени, когда он писал это) вот уже сорок лет повторяла одно и то же, что, мол, у нас литературы нет, что нет светочей, («маяков», по-теперешнему), нет эпохальных произведений и т. д. и т. п. И тут же Достоевский вспомнил, что во все это время, когда критики служили отходную нашей литературе, был Пушкин, потом Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, начался блестяще Толстой, — не говоря уже о второстепенных, но все-таки блестящих поэтах, таких как Фет, Баратынский, и не говоря, конечно, о самом Достоевском!

То, что вам грустно и, м. б., порой безысходно, это дело другое, это может происходить черт знает отчего. М. б., болезнь века, что ли, я не знаю. Но истоком этой грусти никак не должны служить ваши рассказы. И судьба у вас легкая (я имею в виду писательство) — если б вы знали, сколько сотен, тысяч и тысяч писателей пишут по многу лет и о них никто не скажет доброго слова, их не печатают, хотя много из них пишут, так сказать, не хуже других.

Очень бы хотел я с вами встретиться, да не судьба, видно. Я не приеду в Москву раньше 15 января. Мой переводной роман меня засосал... 12 декабря 1964 г. Алма-Ата...»

Было ему в том году, когда он сидел в горах над переводом романа Нурпеисова, тридцать семь лет. Он всюду ездил, и я, прикованный к учительской кафедре, ему страшно завидовал.

В молодой литературе в те годы звучала «исповедальная проза». Подвергаясь искушению, как бы стыдясь перед шумными именами взяться за нечто мне родное, с детской зыбки привитое, я тоже кинулся описывать неприкаянного героя, растворяясь целиком в его чувствах. Самые жестокие замечания я выслушал в том же «Новом мире», но и Ю. Казаков не стал скрывать своих строгих мыслей:

«...А твой герой не только не определился еще как человек (это-то и есть суть повести), но неясен мне и как работник. Кто он? Учитель? Или поэт? Или кто? Мне ясно только, что он что-то окончил, никуда не попал, у матери побывал и там не выжил, опять приехал и прочее, и прочее. Чтобы презирать кого-то, т. е., чтобы иметь право презирать, надо самому что-то делать... 20 февраля 1966 г. Москва...»

Я обидчиво призадумался и принялся вещь раз-

рывать, выбрасывать чужеродные куски и крепче брать за руку героя. Следы прежнего легкомыслия стереть полностью не удалось, но все же. Спасибо за науку, а то бы полетел совсем не туда. Через год я написал сразу две повести: «На долгую память» и «Люблю тебя светло». Но я по-прежнему нуждаюсь в поддержке, в общении. Не было случая, чтобы я позабыл в столице о Казакове. Частенько в первый же день приезда я шел в Дом литераторов и заставал его там. Такси! — и к нему в Бескудниково. Уже я его не боялся, и он в разговоре (как и в письмах) обходился со мной как с младшим братишкой. Но дистанцию соблюдал я сам. Похоже, что я каждую минуту помнил о его первом письме и потому смотрел на него не снизу вверх, а просто благодарно. С этой благодарностью к добрым наставникам мы обязаны жить до конца. Иные примеры мне не нравятся.

Казаков побывал в Париже, повидался с друзьями И. А. Бунина и на даче в Абрамцево рассказывал мне обо всех разговорах; в ту ночь мы наметили с ним «махнуть как-нибудь» на Орловщину, туда, где «в первобытном чистом состоянии души» начиналась «жизнь Арсеньева». И все у нас потом не получалось с поездкой.

«Жалко, опять мы с тобой не попали на Орловщину, жалко. Но такова судьба!.. 2 июля 1968 г. Углич...»

Должен повиниться в скобках: мы не попали на Орловщину и в следующие десять лет.

«...Знаешь, я о Бунине хочу написать, то есть пока о его доме, о вилле Бельведер, умиляет меня старик, как он работал в день, когда не дали ему Нобелевской премии, сидел и работал, а? ...4 декабря 1968 г. Абрамцево...»

О Бунине он не написал, а кому бы и писать, как не ему, — он был им так просковен, любил о нем рассуждать, восхищался писателем, который никогда ничего не имел, кроме книг, и был, по собственному признанию, «как птица всю жизнь».

«Писателю нужен дом или что-нибудь в этом роде. И очаг, знаешь, такой вообще очаг, чтобы порядок был и чтобы весь дом был подчинен работе этого писателя. Тогда хорошо...»

«...Э. Ш. ведь, знаешь, не пьет, т. е. может держать у себя настойки и всякие такие штуки месяцами. И вот в феврале лезет он в подвал и достает яблоки! Свои! И еще капустку, и еще водку на ягоде, и все это холодное, а в доме у него тепло, уютно, а кругом снега! Елки стоят. Снегири за окном прыгают.

Ну и вот, теперь я тоже домовладелец — какая же это обуза на мою шею!.. 18 сентября 1968 г. Абрамцево».

Он, кажется, мстил судьбе за то, что в детстве у него не было на Арбате даже двора, и потому он так вцепился в огороженный абрамцевский лес, в усадьбу свою, жил там месяцами и приглашал всех к себе: «...у меня даже в баньке, старичок, можно писать «Войну и мир»».

«...У каждого есть дом, детство, юность. И вот поэтому, мне кажется, повесть твоя, касаясь, может быть, самых сокровенных дней в жизни человека, любя эти дни и тоскуя о них, должна быть близка каждому читателю...», — писал он 20 февраля 1969 года о моей повести «На долгую память».

Некоторые знаменитые писатели письма свои сочиняют. Обращаясь к друзьям, посторонним лицам, они всякую минуту помнят, что когда-нибудь, после них, письма соберет комиссия по наследству и предложит для публикации. Оттого эти письма лишены непосредственности, отделаны и полны нарочитых высказываний. Высказывания Ю. Казакова — все тот же дружеский разговор, это нечаянное мнение, не рассчитанное на то, чтобы его знали все. Нет там претензий на величавость и мессианство; там откровенность художника, и все.

«...Когда я гулял по Малеевке, мне все время попадалась на глаза вывеска со словами Тургенева: «Нет ничего сильнее и бессильнее слова». Так вот, я глядел на нее и думал о втором качестве слова, о его бессилии. Слово сильно, когда ты крикнешь: бей! А если ты слабым голосом скажешь: любите друг друга?! Сколько мы этих слов говорили! И что же? Говорить снова — скажешь ты и скажу я. Правильно, милый, и мы, а не мы, так еще кто-то будет говорить, пока останутся на земле хоть двое... 12 января 1970 г. Абрамцево...»

«...Я как-то пришел к окончательному выводу, что в сей юдоли если и есть счастье, так это работа. Я имею в виду талантливую работу, то есть ощущение, что то, что ты сделал, — хорошо. Пусть тебя даже не печатают, пусть не замечают, но когда ты кончаешь и ставишь точку, на душе легко и мир прекрасен... 3 октября 1970 г. Абрамцево...»

## 2. Поедем к Сергию Радонежскому

После сна, медленно, по минутам привыкая к светлеющему миру, робко возвращая то, от чего отшеллся я за ночь, усаживаюсь я со стаканом чая за стол и гляжу на окна высокой школы, где пишет сейчас что-то в тетрадке моя шестиклассница Настя. Гляжу на тростниково-тонкие кубанские тополя и повторяю последнюю строку в рассказе Бунина «Мистраль»: «Еще одно мое утро на земле». Вдруг издалека, из пятнадцатилетней давности, слышу голос Ю. Казакова:

— Ты знаешь, как я написал рассказ «Плачу и рыдаю»?

Мы сидели на его даче в Абрамцево — с той стороны дома, где веранда возвышалась над огородом, полдня покрытым тенью усадебного леса. Уже что-то сверчало в таинственной траве, с каждой минутой усадьба и окрестности становились темнее, древнее, и в баньке, казалось, поселился кто-то сказочно страшный. На московской земле прервался на миг небесный свет, и душа сразу сближалась с теми, кто проживал тут в раздолье и двести, и триста, и шестьсот лет назад. А где-то, может, неподалеку, стихало сейчас у кого-нибудь дыхание, кто-то вскрикнул, заплакал; мы же на веранде, возгревая в себе разные чувства, уповали в забывчивости на долгоденствие. Вечер, лес, ничто не болит, и мы радуемся. Казаков, начскачавший без гостей, стал вспоминать лучшие свои деньки и писательское счастье. Он очень любил порассуждать вслух о простых чудесах бытия, никогда не теряя в нем свою персону. Счастливые мгновения слетались к нему, как пчелы на пахучий цветок; едва начинал он рассказывать, все постное делалось вкусным, и самозабвенность обычной вроде бы речи пленяла завистью к тому, чем он жил, что видел и чувствовал. Я сидел подле него какой-то даже пристыженный, словно нарочь лишенный тех талантливых удовольствий, которые достались моему грубоватому собрату. Секрет же был в том, что он жадно любил все свое, со скупостью складывал в свою шкапулку, а потом по-барски разбрасывал перед всеми.

— Домбровский меня вдохновил. У него гениальная память, ты заметил? Мы как-то напарились в бане, вышли. И была ночь, звезды, Домбровский возьми и вспомни: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна?.. Где есть мирское пристрастие? Где есть злато и серебро? Вся персть, вся пепел, вся сень...» Это откуда? Что ж ты, понимаешь, такой темный у нас? Пишешь, печатаешься в «Новом мире» (меня вот Твардовский прогнал), а ни бу-бу, святых отцов не читал. Я тоже не читал тогда, а Домбровский тот что-нибудь и в журнале «Наука и религия» найдет. Ну вот, я ему говорю: «Ты спиши мне, старичок, я сделаю из этого шедевр». Иоанн Дамаскин! Гениально: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...» У меня ухо хоть и как у тебя и моего Чифа, но как не услышать такое: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну и безславну, не имущую вида...» Я устами героя в рассказе «смерть» переправил «на жизнь». Так. Плачу и рыдаю — два слова, и рассказ в голове. Учись, старичок, а то, по-

нимаешь, написал про брянских и, думаешь, все? Не уезжай, поживи у меня, оставайся? Съездим в Лавру, и, глядишь, рассказик какой задумаешь. Там жива еще дочь Розанова, и у нее есть письма отцовские... Читал «Опавшие листья»? Подойдем к раке Сергия Радонежского... Оставайся...

Но я отказывался. Теперь жалею. Московские окрестности с усадьбами XIX века, церквями, обитанием каких-то многознающих интеллигентов, благовоспитанных, из тонкой косточки горячили мое воображение — ведь я из крестьянской среды, мне надо обтесаться, послушать замечательные речи, налиться культурой, и полезно было почаще обретаться здесь, у кого-то пожить, но все было некогда, некогда, я виновато уплетался домой.

Почему не дано нам о чем-нибудь пожалеть за годя?!

Как всплывут вечера в Абрамцеве, прогулки вдоль Яснушки, парижские книги на казаковской этажерке, заправленный в машинку листочек с началом воспоминаний о поездке в Париж, посиделки у Ю. О. Домбровского, появление Ф. Д. Поленова, грустный вид Юрия Павловича после операции — в «предбаннике» Дома литераторов, его ответ какому-то нахалу: «А ты думаешь, что я уже ничего не напишу?», как вспомню это и другое, полусонно уже мерцающее, то беру старый «Огонек», который покупал в Ялте, и повторяю слова Иоанна Дамаскина в рассказе «Плачу и рыдаю». И сам я тогда плачу и рыдаю: отчего же я в те годы столько упустил? Звездой с небес упала ко мне прекрасная минута, и я скоренько распустился в довольстве, не побоялся, что большие друзья мои тоже не вечны, жил без программы, выбрасывал дни, недели, месяцы на препирательства с местными писателями, на тоску и самоуничтожение и ничего-ничего не успел, даже на письма отвечать не приучился, и кому, каким людям?!

Теперь я не с такой охотой езжу в Москву. Что-то слиняло в литературных кругах, и утратила очарование когда-то загадочная для нас, провинциалов, московская среда. Все меньше там коренных москвичей, а прибывшие с окраин Руси начинающие таланты быстро раскусили, в каком углу лежит жирное, не стали столичными, но раннее свое естество запачкали. Сколько улостритовского прагматизма! И это где? В нашей старой литературной Москве! Ехал всегда к кому-то, а теперь? В шесть утра сразу легче дышалось, когда звонил с вокзала и слышал в трубке: «Ты где? Ну дак чего: давай к нам!» Казакову, если он скрывался у себя в Абрамцеве, я посылал записку. «Дорогой Витя! — отвечал он тотчас. — Приезжай, разумеется. Привет Ю. Д. Если он захо-

чет, приезжайте вместе, только захватите пошамать чего-нибудь московского, а то в здешнем магазине пусто. Привет».

— Я тут один, не с кем поговорить... Заночуешь у меня, потолкуем, и прочитаешь, есть кое-что для тебя — «Дар» Набокова читал? Сижу как святой Сергей после пострижения — один в своей церковке, только не молось, а он молился, «с уст псалмы не сходили», и ни одной просфорки за неделю не скушал. Недалеко отсюда было именье Радонеж, за Хотьковым. Съездим. Поздоровался с матерью?

— И поговорили.

Мать его Устинья Андреевна гордилась, конечно, талантом и известностью сына, а все-таки, как любящая мать, больше пеклась о его благополучии, здоровье и в старании порою перебирала, ссорилась, указывала, командовала сыном, желая, чтобы все было по ее понятиям. Зачем матерям вселенская слава детей, когда нет того, ради чего и затеяна жизнь, — счастья простого? Маленькие ее подслеповатые глаза за очками томились, кажется, целыми днями печалью, и в ту дальнюю комнату, где у сына за машинкой и книгами была какая-то оторванная придуманная жизнь, она как будто и не отлучалась, а так и горюнилась. Держала его на месте эта дача, держали старые родители. Вчера у Б. Зайцева в жизнеописании Сергия Радонежского я вычитал: отец отговаривает отрока Варфоломея уходить в скит. «Мы стали стары, немощны; послужить нам некому. Только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда». Это узда вечная, это долги детей.

— Покупай дачу в Абрамцеве, будем чаще встречаться, болтать о разном... Умер один академик, вдова продает дачу, и недорого, рядом со мной, будешь ходить ко мне с пивком, рыбой, купи, старичок, а? Моя стоит тринадцатая тыщ! Перевезешь свою Ольгу, напишешь роман, получишь тыщ двадцать и мне займешь, а то на уголь денег нет...

Все же почему он месяцами один? Однообразие впечатлений нас губит. Надо вырваться из самого себя, а как же вырвешься, если все время один? Нужны уколы посторонней среды, иначе ссохнешься в воспоминаниях, пусть и любимых. В книгах будет перегоняться венозная кровь. Поститься в анахоретстве Казакову стало вредно, замыслы его иссыкали, но он жил и жил, прикованный к своей дачной скале. Возвращая мне книгу В. Н. Муромцевой-Бунинной, он ничего не сказал, будет ли писать, нет об Иване Алексеевиче. Тогда я попросил его начертать «что-нибудь историческое» на последней стороне корочки, обернутой плотной белой бумагой. Он, сердясь, написал: «Хотел я эту книгу зачитать, но со-

вестно... 1967—1971 гг. Ю. Казаков». Теперь эта надпись как грустный аккорд несбывшейся симфонии.

— А я, знаешь, давно мечтаю написать о еде. Ты не смейся, очень интересно можно написать. Ты как разбираешься в этом? Мы с Евтушенко ели семгу на Севере. Ночь наступает, вода светится, отойдешь, так захочется, чтобы тебя кто-нибудь полюбил, а тут уже и уха готова! Все, старичок, жизнь.

— Много обедов, да мало обетов, — пошутил я половицей.

Сегодня, 8 августа, в день его рождения, когда набежало бы ему шестьдесят годочков, я прилетел бы к нему в Москву. Но дача в Абрамцеве пуста. Ездил я глядеть на сиротливые комнаты в Константиново, в Тригорское, в Ясную Поляну. То углы классиков, они жили давно. Но каково видеть одичавшие комнаты друга?! Ведь там и мои часы жизни тикали, там где-то в пылинках воздуха повисли наши голоса — неужели все пропадает? А на пленку я Юрия Павловича не записывал.

— Недавно я болел и перечитал всего Тургенева. Хорошо писали в старину! Все сейчас ругают его: не моден, устарел. А я, знаешь, читал на одном дыхании. Вкусное слово. О красоте формы у нас забыли, сочли, что ли, ее ненужной; рассказы, романы натяганы проблемами. А у Ивана Сергеевича каждая страница изычна.

И нет его разговоров о Париже.

— Париж! Как раньше было просто. Чехов пишет: «А вы когда в Париж?» Спроси меня так. На какие шиши я поеду и сколько надо мне хлопотать? Мне в Италии премию имени Данте присудили, а как забрать медаль? Кто-то за меня решил, что мне приятнее получить ее в посольстве в Москве, а не в Риме. А при Чехове ездили в Париж, в Рим, как в какую-нибудь Калугу. Кстати, Зайцев оттуда, из калужских мест. Он тебе прислал повесть о Жуковском? Жуковский оттуда же: из Белева. Поезжай-ка ты, братец, в Париж знаешь когда? Ну осенью. Я тебя пускаю. И Зайцев, и Адамович тебя примут. И покормят: «Господа, прошу к столу!» Посидишь в квартире Бунина. Думаю, я сидел на том стуле, на котором Иван Алексеевич писал «Жизнь Арсеньева».

Его надо бы посылать за границу на несколько месяцев, он бы привозил после встреч с русскими людьми не презрение и жеманную политически хитроватую жалость, как это водилось у журналистов и некоторых писателей, а добросовестные впечатления о жизни наших соотечественников, десятилетиями сберегавших в чужой земле и русское чистое слово, и картины, и душу. Как в первый же раз устремилась душа Казакова искать во Франции русские

следы! всю ночь я слушал его и любил за это. И был он как ребенок. Наверное, напророчил себе заранее, что больше уж ему тех благословенных уголков не видать. Теперь, когда забурлил по нашим журналам поток эмигрантской литературы, из небытия отчалил к нам имена русских зарубежных писателей, и в Ленинград из Парижа перебралась последняя «жемчужина в терновом венке русской эмиграции» Ирина Одоевцева, все труднее будет ахать и удивляться. Да и позновато это случилось. Наше поколение перегорело, а кольнет ли молодежь историческая горечь — как гадать? Но в 1968 году посидеть в Париже с теми русскими, которые жили еще при Александре III, путешествовали на старый Афон, хоронили А. П. Чехова — с чем это сравнить? Разве что с детским чувством при чтении учебника по родной истории. И все это, я думаю, пережил Казаков, художник впечатлительный, с воображением.

— Зуров, душеприказчик Бунина, дал мне подержать Нобелевскую папку Ивана Алексеевича. Умри от зависти, я держал папку, в которой золотом написано: «Иван Алексеевич Бунин, при Нобель...»

И был он еще в ту ночь забавен, хвастлив, богат душой, вреден в мелочах.

— Вообще я в Париже попал в неловкое положение. Зайцев, Зуров — писатели, а я через каждые пять минут накидываюсь на них с вопросами о Бунине. Зуров написал роман «Зимний дворец». Сердился: «Да знаете, вот и какой-то Бабореко мне пишет из Москвы. Почему я должен ему отвечать, где они все были раньше? У меня у самого много работы». Ну тут я разлился: как можно меня сравнивать с Бабореко? И мы поругались немножко, а потом встретились в одном доме на обеде, и меня поразило: «Господа, к столу». Они живут по-старому, и Зайцев пишет с ятем и ером. А чтобы ты представлял, как они говорят, я тебе прокручу запись.

Пленка эта пропала — как жаль! Там Б. К. Зайцев говорит о России и Бунине минут сорок, а на другой дорожке столько же Г. В. Адамович.

Пропала драгоценная пленка, пропали письма П. Л. Вячеславова ко мне, я их сужал Казакову на время — там были строки о смерти В. Н. Муромцевой-Буниной. В этой пропаже какой-то знак, воры словно в сговоре с домовым почистили бумаги писателя, разбросали где-нибудь на станции или сожгли, варварским чутьем предсказав ему тяжелый крах.

— Ехали мы с ним в Грас, и Иван мне вдруг говорит: «Я всегда, Борис, боялся, что придет когда-нибудь хлыщ со стеклянными волосами и уведет ее от меня. Но я никогда не думал, что...»

Казакова уже нет, и нынче один я да еще кто-то

понимает, о какой драме говорил Бунин Зайцеву.

— Ехали в Грас, — повторял Казаков, — и Иван ему говорит... Давай теперь послушаем и Георгия Викторовича...

Пропало, верно, и письмо К. Паустовского от 21 октября 1966 года, из которого я выписывал две строчки: «Юра, я скоро умру, поклонись от меня Тарусе и особенно тому месту, где была осень в дубовых лесах».

Я ожидал, что после Парижа вскроет Казаков в своем творчестве новый пласт.

Но «автор нежных дымчатых рассказов» надолго замолчал.

Нет его имени в журналах, не палит он из ручки статьями, ухмыляется, наверное, придуманным дискуссиям, всего один раз дал интервью. Конечно, никто не может знать сущего о мастере, потому что его самоотречение такая же тайна, как и творчество. Однако молчание Казакова словно подыгрывало критикам, червившим его прозу в первые годы. Они обвиняли его в подражании бунинскому стилю и мотивам, то есть прилепляли его рассказам вторичность, а между тем публика, когда читала его, ни разу не покосилась мыслью: на кого он похож, каким богам молится? Все-таки не Бунин, не Чехов, не Гамсун писал это, а Юрий Казаков, наш современник. Он стал предтечей, первым звонким аккордом в будущей симфонии расцветающей русской прозы после войны. Он был так свеж, его хотелось перечитывать, а некоторые абзацы помнить наизусть. Высокая тональность, чистота и серебристый свет русского языка, шелест «осени в дубовых лесах», любовь и одиночество, знакомая всем в молодости тоска по счастью — все было в его рассказах, и как после наслаждения читать чьи-то деревянные романы, кучами валяющиеся в магазинах? Ветерок эстетики проник в литературу с Казаковым. Потом засверкали другие замечательные писатели — со своей земляной народностью, правдой, дождевой тяжестью, серьезные и утренне-трезвые, и коим часом даже подумывалось, что в рассказах Казакова жизнь российская слишком легка, но... но все никак нельзя было оторваться от «Адама и Евы», «Плачу и рыдаю», «Запаха хлеба...», нельзя было забыть и самого себя во дни первых чтений, заглушить эту скрипичную мелодию...

И все же — почему замолчал, сам выбрал себе распятие? Так бы и крикнул: да оглянись, Юра! Да разозлись на себя, посмотри же, что у нас творится! Мякиной завалили гнездо литературы! Несчетные журналисты-международники отобрали у нас половину читателей, прижились на веточках худо-

жественной литературы как бабочки-листовертки. Какой-то актер расписывает свои дни по минутам, скачет по Москве с утра до ночи (радио, телевидение, кино съемка, преподавание, спектакль), а перед сном еще «непреренно читает последние новинки», еще и статьи пишет, выбалтывается в интервью, то есть сует себя во все дыры, ибо убедился, что соваться везде — значит процветать. Какие-то провинциальные писаки изо дня в день отстригивают своими рубанками обязательное количество строк, затем, словно на дежурство, шествуют с рецензией на «кирпич» в отделение Союза писателей, выверяют расположение сил противника (у них там всегда как на фронте), слушают новости из издательства (чью рукопись зарезали, кого грозят назначить в редакцию), потом в бюро пропаганды литературы набирают пук путевок для выступлений в селе, едут на целую неделю кормиться, потом опять садятся на стул с мягкой подстилкой и обогащают словесность похвальной дружеской рецензией. А тут... такая затяжная апатия: поздно писатель ложится, поздно встает, и мысли все о том, что литература сейчас не нужна и писать не хочется. И древняя мудрость еще нежнее ласкает кислое настроение: «Глаз сразу объемяет великий сонм звезд, но если захочет кто объяснить подробно, что такое денница, что такое вечерняя звезда и что такое каждая звезда порознь, то потребует ему много слов. Видишь ты звезды, творца же не видишь. Познай свою немощь...» А вот и князь П. А. Вяземский помогает столетним своим пессимизмом: «Все, что нынче читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле слова?» Вот уже Вяземский смотрит будто в наши годы: «Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли ныне пишут потому, что в груди их волнуются и роются образы, созвучия, которые неволью и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира, жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени, таящегося в груди его?»

Говорят, уход писателя из жизни озарен высшей неслучайностью, уступает место другим, более необходимым своему времени. Может, потому и умер Казаков-художник, что красота, нежная музыка искусства уже не властвуют над людьми?



Летом 1985 года возвращался я с женой и дочкой из Троице-Сергиевой лавры. Мы там ходили по двору... Размягченный кротостью лиц, думая о великом множестве людей, оставивших нас навсегда, решил я упротисить друзей завезти меня на дачу Казакова. Мы спускаемся вниз, въезжаем в высокую аллею, раньше времени поворачиваем, блуждаем.

Кто нынче «обитает в жилище твоём»?

Ездили мы отсюда с Ольгой на полдня в Мураново, и там, у шкафов со старыми журналами, я мечтал почитать когда-нибудь письма Ивана Аксакова (именно почему-то Ивана) и журился, что живу далеко от библиотек, в которых есть все, что печаталось в России, что нужно мне для души. Судорогой сводило чувство от вида личных вещей Е. А. Боратынского и Ф. И. Тютчева: чернильниц, мундштуков, последнего гусяного пера, свеч, не зажигавшихся после смерти Федора Ивановича. Хозяев нет! Так же через минуту увижу я бесприютную баньку Казакова, веранду, письменный стол. Скорбь человеческая! Все мы протекаем в землю аки вода. Вспомнил я тотчас поэта Митю Голубкова, тихого, с острым носом, сидевшего в сумерках на веранде и рассуждавшего о Боратынском (он писал о нем книгу «Недуг бытия») – это о Мите пишет Казаков в рассказе «Во сне ты горько плакал». Не до утра, как в Муранове, закрыты двери комнат, не музей здесь, а покинутая дача, на которую приедут в какое-нибудь воскресенье Тамара Михайловна и Алеша, уже у калитки вздрагивая в какой раз: все кончено, они одни. Тот же Митя Голубков читал тогда Боратынского на память, и нынче некоторые строки звенят над абрамцевским лесом еще грустней: «Не славь, обманутый Орфей, / Мне Элизейские селенья: / Элизий в памяти моей / И не кропим водой забвенья. / В нем мир цветущей старины / Умерших тени населяют, / Привычки жизни сохраняют / И чувств ее не лишены. / Там жив ты, Дельвиг! там за чашей / Еще со мною шутишь ты, / Поешь веселье дружбы нашей / И сердца юные мечты».

Сколько бы еще лет мог я навещать Юрия Павловича, и были бы мы все старше и старше, и что-нибудь неожиданное все равно написал он, может, о смоленских предках своих, которые с бессилием смотрят с фотографии (оттуда, из старой России), а может, еще что-то об Абрамцеве или о лавре – как теперь угадать? «Оставайся, поедем к Сергию Радонежскому...» Да мы-то едем из Лавры, а где ты, Юрий Павлович? В каких селениях? Пухом ли покрыла тебя земля в той узенькой-узенькой щели, куда мы тебя опустили (бок о бок с тремя детскими могилками)? Может, потому что сподобился лечь

в окружении детей, что гимнами детям и закончил свою литературу?

В Абрамцеве все как и раньше. Тишина и зеленый полог словно скрывают само время, и к ночи вовсе сливаешься чувством с аксаковской Русью. Теперь эта усадьба досталась Алеше. В тоске по Алеше и написаны последние рассказы. Все так понятно. Сижу в Пересыпи, оторвусь от машинки, зайду в огород. Брожу по буйной заросли и чувствую, что мне чего-то не хватает. Больше было радости месяц назад. Стрекозы вздрагивают и сверкают крылышками, чуть шевельнется зернистый укроп. Уже август. Под айвою лежит молодой пес Барон. Два щенка, Туман и Жулька, возят мордочками в чашке. Пospела алыча, взобрались на смородину улитки. А-ах, Настеньки нету в огороде! Только что, три недели назад, она здесь была, а сейчас едет в сухумском вагоне в Сочи. Тоскливо.

Казаков много раз говорил мне, что тоскует по Алеше.

Дом № 43. Под горку идем к крыльцу, разгребая руками траву на аллее. Никого нет?

...И в солнечном свете вижу боком стоящего высокого белесого мальчика. Кажется, что смотрю я на картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Так похож мальчик по осанке и скорбно опущенной голове. Но это, конечно, не отрок Варфоломей (будущий Сергей Радонежский), а вчерашний десятиклассник Алеша Казаков, герой отцовских рассказов «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал».

Нет, я не подгоняю детали ради какого-то литературного замысла. Так было.

«Был ли у тебя отец? Ты мать любишь, это почти во всех твоих вещах присутствует, а отца как-то нет... Но почти всегда сын ближе отцу: даже в старых барских писаниях, когда отцы мало бывали с детьми, передавая их разным дядькам и гувернерам, все равно эти барчонки, растаяв, с особой нежностью, с особой мужской любовью вспоминали потом отцов своих. Вспомни хотя бы Бунина или «Дар» Набокова... (19 августа 1969 года, Абрамцево)». ■

1985, 1987 гг.